

Антропология орудийности и феномен искусства

В.П. Визгин

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник института философии РАН

В эссе ставится проблема творчества человека как *homo instrumentalis*, т. е. как субъекта орудийной деятельности. Анализ сфокусирован на феномене типологически персонифицированной стыковки не-утилитарной художественно-медитативной установки с утилитарно значимой орудийной активностью. Орудие, специфическим образом связывая человека с миром, одновременно изолирует его в ситуации замкнутой утилитарной практики («орудийная капсула»). Функции художественного воображения и философского размышления состоят в «раскупоривании» подобной «капсулы» таким образом, что человек при этом вступает в целостный и творчески продуктивный контакт с бытием и самим собой.

Ключевые слова: орудие, орудийность, рациональность, медитация, искусство, воображение, бытие, культура.

Мы живем среди существ более древних, чем мы, существ далеких, причудливых, разнообразных, сильных и ловких. У быка и коня, коршуна, белки, лягушки — своя жизнь, в которую мы с такой самоуверенностью вмешались. Как? Посредством орудия. Быка погнали на пастбище хворостинной. Коня впрягли в телегу с помощью оглоблей, дышла, ремней. Коршуна и белку достали дробью. В нашу, человеческую, работу вовлекли мириады существ — речных наяд, горных гномов, лесных троллей... Человек изготовил весь мир природы превратить в свое орудие, в мир изобретаемых и создаваемых им на основе той же природы орудий. Кажущийся необозримым ряд орудий начинается с хворостины, а заканчивается философским трактатом, метафизической системой. И кнут, и идеология — орудия по утилизации природного бытия.

В мире существ и стихий природы человек с помощью орудия создает пространство своего обитания — *ойкумену*. Орудие охраняет ойкумену, поддерживая «капсюлю» человеческого мира. В ней обитает человек — всегда по поводу, вблизи, из-за, ради — в связи с орудием. Изобретение, поддержание, развертывание, модификация и т. д. такой «капсюли» составляют предмет рациональной деятельности человека, сферу его заботы как *Homo rationalis*. Измерять, контролировать путь орудийной деятельности, быть начеку, следить за бесперебойным эффектом, обеспечиваемым орудием, — все это возникающее на почве орудийной активности и есть рациональная активность, которая определяет феномен человека. В иерархии детерминант и измерений человека она представляется нам ведущей, и поэтому о человеке можно говорить как об *орудийном существе (Homo instrumentalis)*.

Природа обходится без посредничества орудий: коршун выслеживает добычу глазом-радаром, а заканчивает ударом клюва. Природа молчит, ибо в ней

нет места для среднего термина орудия, для его функции опосредования и отражения последней в логике — для силлогизма. Человек *говорит*, ибо он *орудием* по сути своей. Человек говорит человеку, дабы вместе совершать действия с орудием таким образом, чтобы в результате был желаемый эффект: сохранение человека, продолжение человеческого рода. Вместе с орудийной деятельностью обнаруживается социальная, а с нею и лингвистическая природа человека. В этой плоскости возникает возможность переноса орудийного отношения «человек — орудие — природа» на самого человека, угрожающая превращением его в орудие. Говорят прежде всего те, кто контролирует общественное целое. Говорят человеческим «частям», чтобы они поддерживали равновесие орудийных систем. Говорить — первый признак господина, мэтра. Господин речью «бережет» раба и, разумеется, себя вместе с ним. Речь как орудие передает нечто орудийное. Информация, содержащаяся в речи, — орудие в лингвистической форме. Поэзия в устах *Homo rationalis* в функции мэтра — это только метафора информации. «Вы пятились, как рак», — говорит капитан, что означает: следует дать полный вперед. «Вы идете крабом» — надо повернуть влево и т.д. Поэзия — не более чем завуалированный приказ, если она звучит в устах капитана индустрии или просто баржи. Рациональность (*ratio*) — набор схем, приемов, предназначенных утилизировать мир с помощью орудийной деятельности.

Голос человека заботится о человеке, о его сохранности. Первые речи человека — крики матери, разыскивающей своего младенца — «иди на голос». Голос — средство, орудие ориентировки в мире. Вроде костра, флага, обыгранной приметы местности. Речью обуяна мать. Отец молчалив. Он твердо держит весло, плуг, кирку, лук. Мать — голосит, зовет, причитает. Не отсюда ли болтливость деревенских баб, а с ними и женщин вооб-

ще? Они заговорили первыми. Им было кому говорить. *Что* их речей — просто, нехитро, даже бедно. Главное в них — несомненный адресат, *кто*. Речью они берегли детей своих, а вместе с ними — «имущество», т. е. скопления средств, депо домашних орудий. Язык в своей простой изначальности *ratio* — язык предупреждений. Это информация от *впереди ищущего* — проводника, вождя, от *впереди живущего* — старца. Поэтому первыми говорили старики и матери. Порядок речей следует за порядком продвижения по жизни, по ее пространству-времени. Лингвистическая мораль привилегию речи дает опытному старцу, старейшему племени, ибо он живет впереди других и поэтому ему есть что сказать им, есть о чем предупредить молодых. Он знает рифы жизни. Он должен сказать им об опасностях жизненного путешествия через Эрос к Танатосу. Мать и старец — вот основные очаги генерации речей человека.

Homo rationalis — распорядитель по преимуществу. В горизонте своей цели — выкармливание быка, перевозка грузов и т. д. — рациональный человек видит мир, обрабатывает его в поле ее светящегося коноуса. Цель — со-стояние человека с миром, которое устраивает человека: сохраняет, размножает, дает желаемый эффект восстановления сил, обеспеченного честолюбия, удовлетворенной привычки, реализованного предрассудка, искомого благополучия и т. п.

Судьба человека неотделима от процесса саморастаания орудий. Мир человека — это прежде всего мир орудий, невероятно разнообразных (и где-то утомительно однообразных), сплетенных в систему. Опасность, идущая от орудий, от их угрожающей избыточности, служит возбудителем антицивилизаторских, контртехнологических настроений, звучащих голосами тревоги и предостережения. Перенасыщенность жизни орудиями, их недоброкачественность вызывают эскейпистские тенденции, симплифика-торские течения. Взяв в руки хворостину, дабы овладеть первозданной мощью быка, человек отдал свою судьбу «в руки» плохо или вообще не контролируемой им самоэволюции популяции орудий: одежды, обуви, крыши над головой, телеги, рельс, парохода, карандаша и пр., накопление, сохранение и усовершенствование которых поглощает почти все его силы.

Любопытство разума человека начинается с разгадывания загадки орудия: его назначения, принципа действия, сферы использования. Сквозь орудие человек как рациональное существо видит и весь не-орудийный мир. Любое орудие — посредник между человеком и природным бытием, «скафандр» для «перемещения» по пластам стихийного бытия. Орудие живет: движется, издает звуки, разносит запахи, отражает свет, воздействует формой, давит весомостью. От орудия исходит призыв работать с ним, разгадать назначение, овладеть его телом. Орудие озадачивает и озабочивает, провоцирует мышление (усилия по композиции частей в разумное целое), инспирирует мысль о Труде, Цели, Пользе. Из ангаров, труб, всяческих депо орудий несется зов человеческой судьбы. Сиреной тревоги несется он из городского смога. Биологическая природа человека несовместима с грубой, мощной, неорганической «физиологией» орудий — с их

ритмическим шумом, «экскрементами», капризным характером, неотложной требовательностью. Зернодробилка может отнять пальцы рук. Шахты взрываются. Отбойные молотки разрушают слух...

Эпистемологический шум

В степи, холмистых предгорьях, тайге человек имеет дело с орудием в бытийной насыщенности воздуха, воды, гор, трав. Здесь очевидно, что бытие само по себе до-орудийно, не-орудийно, а орудие — *онтологически вторичное*, слабое, малочисленное «существо», редкий, почти экзотический «зверь», сподручный человеку, спорадический, «узкий» и хрупкий. Изначальный массив бытия до-сверх-орудийен. Уже по дороге в город теряется эта правильная перспектива, трезвая оценка, взвешенная пропорция. Беспреданно проносятся груженные орудиями орудия: вагоны, начиненные орудиями и только ими. Разнообразны их вид, шум, запахи, причудливые формы. Толчея орудий. Гипноз орудий. Орудийная озабоченность людских толп. Все это невольно приводит к подсознательному привыканию к феномену орудия: орудие решительно заслоняет не-орудийное бытие. Этот эффект и есть *эпистемологический шум*, создаваемый технической, или орудийной, цивилизацией.

На ярмарках орудий — в современных городах и поселках — поражает холод контактов с орудием, дефицит красоты, ледяное дыхание пользы — эпистемологический шум. Рельсы, паровозы, вагоны, семафоры, пакгаузы, водокачки, элеваторы, трубы, мосты, цистерны, машины всех родов, здания... Какой иной флюид, кроме флюида пользы и труда, исходит от них? Только, пожалуй, у Андрея Платонова находим не лишнее достоинство одухотворение машины — нежно-лирическое отношение машиниста к паровому котлу. Может быть, это возможно. Наверное, даже необходимо, дабы по-человечески жить с этим стальным зверьем. Дабы холить, улучшать его строение и состав. Проще — и чаще — встречается бесовская анимация машины. Она идет от тех самых антицивилизаторских настроений, о которых сказано выше и которые лежат вне нашего анализа-с-медитацией. Видимо, человек не может отречься от своего орудийного зверинца. Несомненно, люди находят красоту и душу в близких им орудиях. Математик любит красоту теоремы, плотник нежно ласкает рубанок, любясь сделанной вещью, машинисту по нраву котел или кривошип. А человек гуманитарной культуры? Или просто маленький служащий, живущий на обочине больших орудийных депо? Тот, кто не созидает такого рода орудий, не обогащает их предметного богатства? Не является ли всякий труд — гуманитария тоже — трудом в этом большом ангаре орудий? Наладка, шлифовка и приручение языка и общества — тоже рядовое дело в орудийном депо. Грамматика, социология или логика тоже озабочены своими специфическими орудиями. Остается неясность только по отношению к неряшливой фигуре рассеянного поэта, живущего в люфте и люфтом, т. е. в полости, локализирующей красоту, поэзию и творческое воображение в монолите орудийности. Его, узника люфта, «держат» опять-таки ради заботы о

культуре люфта с его утилитарной функцией — люфт нужен для креативной активности в том же самом депо.

Бездомный поэт

Эпистемологический шум приводит прежде всего к тому, что человек *безнадежно привыкает* к орудийности. Она перестает быть для него загадкой, предметом острого удивления, остранения, медитативного изумления. Нужны башкирские степи, путешествие на Памир, какая-то перестройка психики, просто, наконец, случай, дабы *феномен орудия* вдруг первобытно наивно озадачил человека.

Орудийный мир — это преобразованное не-орудийное бытие. Поэт доставляет сущностные силы до-орудийного, не-орудийного бытия в мир человека, дабы обогатить его изобретательность, творческие функции в этом депо орудий. Поэт — «щель», сквозь которую родник изначального не-орудийного бытия просачивается в депо, где чумазные машинисты, усталые инженеры-конструкторы, включая гуманитариев, пьют воду живую, дабы снять шок изнуряющего контакта с физиологически утомительным орудием — паровозом или теорией в физике или философии, все равно. Этот бьющий ключ есть живой язык, его формообразующие способности, его творческие потенции. Язык — особое орудие, в котором не-орудийное бытие в какой-то мере воспроизводит себя. Благодаря поэту мы обретаем дождь, грозу, лес, море... «Пока есть еще куницы, — говорит Герман Гессе, — пока есть еще аромат первозданного мира, есть еще инстинкт и природа, до тех пор мир будет еще приемлем для поэта, еще прекрасен и обольстителен». Поэт, передавая в эфир человечества импульс красоты и тайны, делает мир приемлемым для всех людей.

Орудие — каждое (!) — может и должно стать предметом спокойного вдумчивого медитирования. Орудие особого рода — *дом*. Он привилегированный ангар для других орудий, средство защиты и сохранения всех орудийных средств и потенций. Это «точка» притяжения всяческих орудий — пил, топоров, кос, вил, молотков, утвари, ножей, книг, рукописей, одежды, мебели и т. п., микродепо, микрогород, микроцивилизация, т. е. микробытие человека как *орудийного существа*. Та самая орудийная «капсула», которой обволакивает себя человек, дабы жить в бытии стихийном, и есть в своем образце, в миниатюре дом. Вакуум или полость, отбитое в непосредственности бытия стихийной силой во-оруженного* человека пространство — дом как орудие орудий. Зыбка или колыбель новорожденного, коляска младенца, кибитка или юрта кочевника, шалаш косаря, палатка геолога, изба земледельца, панельный корпус горожанина — все это разные виды домов. Шкатулка, коробка, силовая крепость стен, ограда, сейф — вот что приходит прежде всего на ум при виде дома. Дом — «прибор» или приспособление, иногда доступное для перемещения, измеряемое кубическим метром

защищенное пространство. Орудийная цивилизация есть *домашняя* цивилизация. Весь мир она стремится сделать домом человека. Дом противостоит распылению орудий, будучи местом их систематического накопления и учета, упорядоченной охраны. Здесь пастух оставляет свою хворостину, когда скотина заперта в хлеву, а он восстанавливает силы для будущих выгонов. В доме человек не только на время освобождается от орудий, здесь он и занимается ими, ремонтом, обновлением, хранением. Весь сфокусированный человеком мир имеет дом: недалеко от пастуха на скотном дворе (крытый дом для скотины) ночуют бык и овцы. Все человеческое покоится здесь, в доме. Дом — самая устойчивая «капсула» человеческого бытия. Даже умирая, человек не лишается дома: из одного переходит в другой.

Феноменология дома начинается там, где его нет, но где он непременно должен быть: в степи, открытой всем ветрам, всем суховеям, всем метелям. Дом — самая решительная антитеза природному стихийному до-орудийному миру, имитирование природного космоса, но с обратным знаком. Крыша — вывернутое наизнанку небо. Если небо абсолютно бездонно, пронизуемо для полетов и проникновений, то дом, напротив, непроницаем для внешнего, недомашнего бытия. Если с неба падают стихии — льет дождь, сыплется снег, несется град, ударяют молнии, — то с потолка дома падает и льется только тихая музыка прирученных стихий: отклоненного дождя, задержанной бури, остановленной метели. По всем параметрам дом антисимметричен космосу. В степи в полдень — зной, а в доме относительная прохлада. Вечером в степи — темень, а в доме светло от свечи или от лампы. Когда в степи бушует ветер, в доме тихо и т. д. Вся негативная по отношению к природному бытию мощь орудийной деятельности обнаруживается, как в фокусе, в феномене дома.

Дом и поэт. «Щелевая», медиаторская и, хочется добавить, медитаторская природа поэта лучше всего обнаруживается в его *без-домности*. Без дождей, снега, листопада и звездопада поэт немислим. Бездомность стихийного бытия делает мир приемлемым для поэта. Поэт должен «вывалиться» в стихиях. Ветер должен продуть его насквозь. Поэт должен безорудийно (беззащитно) расстаться со стихиями: посредством воображения, идущего от телесности мира, от физиологии горячего камня, ледяного ключа, сыпучего морского песка. Поэт не накапливает орудий, не размещает горшков и кастрюль на полках. Ему в отличие от ученого не нужны книжные стеллажи. Холщовая сумка с Вергилием или Данте, клоч бумаги с обгрызанным карандашом — этого достаточно. А ночевать он будет в горах, в случайных хижинах, на сене. Ему даст приют меценат, друг, издатель, случайная гостиница или просто палатка. А еще лучше — ночевка под открытым небом. Ведь *открытие неба* — единственная задача поэта. Поэтому поэзия любит средиземноморское тепло, страны Леванта, августовские звездопады, небо южных степей и морей...

* Оружие есть первое и, быть может, последнее орудие человека, судьбоносное для орудийного существа — человека.

Медитатор и рационалист

Развертку орудийной природы человека можно обозначить как культуру. Культура — навыки реализации разума, совокупность способов дать ему жизнь, сделать его действенным. Аргументы разума, идущие от схватывания «реалий» (принцип реальности) в практических рациональных схемах, на время гипнотизируют своеволие неразумной воли, которая, однако, только ждет своего часа, часа реванша.

Языком разума может говорить и неразумная воля. Конечно, разум отпаривает все ее аргументы, но это еще вовсе не означает, что победа будет за ним: возможность выхода, фортеля, каприза и безрассудства остается, и нет никакой уверенности, что разум осуществится. Гарантии последнего надо искать в культуре как в дрессировке своеволия в цирке разума. Стыдом, оглядкой на других людей, аргументами, логикой т. п., а лучше всего просто привычкой, навыком как твердостью в следовании разуму культура воздействует на неразумную волю, склоняя ее к подчинению.

Конфликт воли и разума раздражает медитативную активность: в ней их роковая необходимость получает компенсаторное квазиединство. Медитация — разумная воля с ее принципом удовольствия и волевой разум с его принципом реальности. В медитации сходятся все расходящиеся пучки человеческой личности, скажем проще, человека. Медитативный тип человека вырастает с особой легкостью на этих расщепленных почвах души: его питают антагонизмы воли и разума, желания и рассудка, консервативной осторожности и авантюризма. Склонность к самораздиранию, садизм по отношению к самому себе также входят в комплекс медитативной личности. Без самонадрыва, без задевания ран внутренних несходимостей нет в медитации ее «бешенства», ее увлеченности, нет эйфории глубин, пароксизма открытий.

Охарактеризуем подробнее *медитативный* тип личности. Неуравновешенность психики, ее самопровокационный характер, проявляющийся в инициировании резких перепадов настроения, в смене эйфории депрессией (и наоборот), неуправляемость, детская неспособность к уверенной практической жизни, болезненная алогичность, чрезвычайно легкая возбудимость, склонность ко всяческому «опьянению» — транс, увлечению, экстазу... Личность эта живет подсознательными токами. Их накопление приводит к вспышкам: эмоциональным коллапсам, моторным разрядам, носящим порой характер истерии, быстро сменяющимся чуть ли не слезами раскаяния. Личность эпилептическая, нервозность которой легко уживается с апатией, быстро утомляемая, малоспособная к последовательности, доведению дел и мыслей до конца. Крайняя замкнутость, отчужденность от людей сочетаются в ней с чрезмерной коммуникабельностью, «расхристанностью» души, легкостью завязывания контактов с людьми совершенно незнакомыми. Личность, полная грез, неминуемых срывов, самоиронии, преувеличенной осторожности и безрассудства одновременно.

Любовь-привычка к медитации, к свободному трансу воображения составляет костяк такой личности. Восхитительное начало «Племянника Рамо» дает классическое описание этой страсти к легкокрылым мыслям*. Медитативная личность конституируется верой в медитацию, причем эту веру трудно проанализировать до конца. Видимо, она подкреплена компенсаторной функцией медитации как активного *состояния*: отсутствие цельности состава души восполняется цельностью самого медитативного акта. Действительно, в медитации разум и воля, «наслаждение и долг» (Кьеркегор) совершенно сливаются в одном состоянии. Я называю здесь медитацией то, что другие называют, быть может, мышлением, словесным творчеством и т. д. Если угодно, это всего лишь литературный стиль, даже, скажем, перезаостряя мысль, прием письма... Медитация — то, откуда мыслит-пишет медитатор, и то, что он при этом пишет. Нечто на перепутье человека и мира, склонное обраться словами-мыслями. Некое состояние человека с миром, чреватое словом и стремящееся к нему. Однако всеми этими сопоставлениями мы еще не поставили точку, исчерпав ее содержание.

Медитативный тип личности можно понять только на фоне дополнительного — *рационального* — типа. Последний анализируется нами не в качестве абстракта, одной из возможных координат философской антропологии (*Homo rationalis*), а как экзистенциальный тип, некий реально живущий человек с особым складом действия, навыками мышления и т. п. Конечно, оба типа — в известном смысле идеальные конструкции... «Железная» разумная воля рационалиста и «кисельное» безволие (в смысле *разумной* воли) медитатора. С рационалистом куда проще: он знает, чего хочет. Знает, что разумно, что возможно, что нужно — и в какой последовательности все это должно располагаться. Это некий чемпион практической жизни, расчет у него совершенно сходится с действием. Он знает, что отпуск надо предельно использовать, на сон вредно плотно ужинать, совокупляться надо в меру, зарядка поддерживает фигуру, в мясе есть трупные субстанции, летом надо больше находиться на воздухе, хотя бы один иностранный язык надо твердо знать, лучше жить активно, спортивно, чем пассивно, ленясь и празднословя с приятелями, все нарабатанное надо непременно использовать и т. д. Рационалист налету схватывает мир в формулах полезной, нацеленной на быструю реализацию информации: где что купить, продать, как избежать очередей, найти портниху, куда обратиться с жалобой, как подать объявление и обменять жилплощадь... Это человек, твердо умеющий жить. Его желания сразу же выходят на свет в броне практического разума, и поэтому он их без затруднений осуществляет. Среди этой породы не найти гениев, но зато рационалист всегда не слишком глуп и может положиться на себя самого: себе он подножек не поставит, это уж точно. Другое дело медитатор: чемпион по самораздиранию, дабы промедитировать противоречия бытия. Боль и ощущение абсурдности существования нужны медитатору для раздражения медитативной активности. Впрочем, не надо это по-

* Дидро Д. Избранные философские произведения. М., 1941. С. 207.

нимать так, что медитатор сознательно вставляет себе палки в колеса. Как человек он не может не желать себе добра, спокойной жизни. Но такова уж его природа, что не *ratio* определяет его существование, а потребность в медитации.

Культура как опыт человека по приживлению разума — матрица для размножения человеческих экземпляров рационального типа. Одним из перлов, теоретизирующих этот тип, является теория разумного эгоизма. Эти — «новые» — люди хорошо знакомы с расхожей практической этикой, дабы иметь возможность быть эгоистами, конечно же, разумными. Хуже у них с красотой... Что-то вроде зависти гложет их ладно устроенные, адаптированные, упорядоченные, хорошо вентилируемые души (вроде стеклянных дворцов Веры Павловны), когда они встречают «гуляку праздного». Живописные лохмотья наркотизированного художника (вспомним толстовского Альберта), пряная красота его разгульной взбаламученной души вызывают у комильфотного рационалиста одновременно брезгливость, чувство собственного превосходства — и каплю едкой зависти.

Ампутация воображения ножом гипертрофированной рациональной установки — привычка, насаждаемая современным массовым воспитанием начиная с детства. Конечно, детей нужно учить рациональности, пониманию назначения вещей, что, впрочем, делается само собой в играх, в практике общения со взрослыми и т. д. Ампутация воображения начинается тогда, когда полезная функция вещи объявляется ее единственным смыслом, когда ребенку внушается, что ничего другого данная вещь не несет. Стул — средство для сидения — и больше ничего. Стаканом — не играют. «Если тронешь кошку, — кричит своему напуганному ребенку рационалист-гигиенист, — убью!» Ребенку всеми средствами вдалбливают однозначность назначения вещей, их плоский, одномерный характер. Возникает *рациональная ложь*, оболгание жизни и мира, кастрирование бытия в угоду его грубой орудийной зафиксированности. Результат такого воспитания — бестворческий антихудожественный рациоморфинист. Кто же научит ребенка полителеологии, поли- и сверхфункциональности вещей, их полисемии, многомерности и странности мира? Где этот Минковский от педагогики? Кто научит ребенка воображению, искусству люфта, способности изобретать и создавать — источнику всей орудийной цивилизации? Изнанка орудийности, внутренняя коррозия феномена человека — не это ли Фортуна, режущая ему крылья? В таком диагнозе — потенциальный конец феномена человека, внутренняя угроза его упадка и гибели.

Свет в окошке

Теперь о другой наследственной болезни человека как орудийного существа. Первая описанная болезнь или, скажем мягче, симптом болезни — маниакальная зафиксированность узкоорудийной установкой, экзема плоского рационализма. Второй симптом — потерянности в орудийности, в орудиях,

превращение орудий-средств в самоцели. Какие признаки характеризуют эту болезнь? Прежде всего усыхание креативной активности. Человек перестает созидать вещи, изобретать орудия, останавливает свой эпистемологический танец на границе с неизвестным. Бегаёт по черным и белым рынкам. Меняет, продает, покупает. Масс-медиа, соседи, референтные группы на работе или среди знакомых инспирируют его цели. Он — потребитель, коллекционер, собиратель, комильфотный неотехнократ, идущий в ногу со временем. На каком-то витке этой гонки психофизиологическая организация человека даёт срыв. Изоляция от не-орудийного, стихийного бытия плюс перевозбуждение по пустякам из-за фантомов культурного (чаще паракультурного) потребительства при стабильном гипокинезе и нулевом уровне медитации неизбежно приводит к засорению сознания, его потерянности, утрате им перспективы и правдоподобных пропорций бытия. В результате — стертый неврастеник большого города.

Другой верный признак болезни феномена человека — атрофия радости бытия. За гиперактивностью скрывается апатия, унылая бесхудожественность существования, застойное — и часто застойное — переутомление, испитой, хмурый вид, фобии и раздражительность, глухота к стихиям, игре и творчеству. Сумеречное, безрадостное состояние плодит и множит только эрзацы орудий, имитации творчества — недоделки и переделки, монстров и выкидышей, ляпсусы, туфту и черную халтуру вместо простых экономных средств, ясных четких решений. Возникает порочный круг: больной — потерянный в орудийности человек — множит неполноценную квазиорудийность, а последняя, в свою очередь, матрицирует больного человека. Так возникает роковой цикл *псевдо*: псевдокультура = псевдочеловек.

Рецепт лечения нехитр и прост: накапливайте только самих себя, только то, что питает и просветляет душу, возносит дух и совершенствует тело. Орудия создаются в работе с бытием. Откройте себя для бытия. *Бытие — вот воздух феномена человека.*

Смех животворящ. Смешно, но культуру создают из глубины ее недостатка: культура цветет там, где ее... почти нет, где ее явно не хватает. Посмотрите на этот тандем, на этот катабан (пардон, катамаран!): рационалист в паре с медитатором! Вот хохма-то! Они прекрасно дополняют друг друга: разумная воля прирожденного руководителя сочетается с энергией и одновременно расхлябанностью этого строптивного раба — медитатора. Медитатор вроде гейши или узорчатого бухарского ковра украшает тяжкий труд Разума, Ответственности, Строгости, Блюдения Цели, который взвалил на свои плечи рационалист. Медитатора, конечно, держат на привязи, он тоже исполняет тяжелую работу осуществления Совместной Цели, но любят его за его вольности, красноречие и всяческие люфты в сознании, крепко перешнурованном Пользой и Эффектом.

Медитатор, намаявшись сам с собой, готов сдать себя внаем первому попавшемуся распорядителю-рационалисту: лишь бы не вязнуть в болоте практической

жизни, где он только расширяет себе лоб и ничему при этом не может научиться. Светлая, честная мысль медитатора о себе — мысль о своем полном практическом ничтожестве. Он поступает практично, признавая в этом и учитывая это признание. Правда, беда в том, что он ничего не может довести до конца, органически не умеет принимать что-либо в учет, в расчет — свои светлые мысли в особенности. Мечта горделивого медитатора — овладеть стихией праксиса, наполнить свою жизнь содержанием и смыслом, реализовать свой медитаторский разум. Но медитатор тонет в самоанализе и редко обольщается на свой счет: он знает свою природу и сам этот проект рассматривает с необходимой долей иронии.

Медитатор, не умеющий в житейских делах опираться на себя самого, бессознательно, а точнее, всегда полусознательно (будучи человеком, «съевшим слона» в самоанализе, вносящим сознание во все, даже туда, где оно не нужно), ищет советчиков, консультантов — архимедовских точек опоры, конечно же, среди рационалистов — корифеев и рекордсменов в искусстве делать цель зримой. Медитаторские цели так непрочны, потому что медитатор непрерывно подвергает их мысленному рассмотрению, разложению в своем медитировании: ему, честно говоря, ничего, кроме медитации, и не нужно. Если же она налицо, если есть пища для медитации и силы для сосредоточения, то медитатор похоронит любой самый светлоразумный, полезный и даже приятный проект! И все же оставить мысль об овладении жизнью, практической жизнью, медитатор как человек не может. Он говорит себе: «Да, я — медитатор. Будем из этого исходить». Он хочет сознательно и бесповоротно загнать себя в дупло грез, обмороков практического разума, светлых утренних бдений, восторгов пера, радостей медленного чтения. Он любит *изнеможение* от медитации. Любит Ницше — наперекор всем рационально-этическим «резвым» его оценкам. Любит непредвиденность слова, неожиданность поворотов мысли. Любит создавать теоретические модели человека, сорить идеями, захлебываться и опьяняться ими. Мысль о практической пользе его «безумств» — ему поперек дыхания. Но так жить он не может. Он должен идти на выучку к рационалисту: пусть все его

танделы с ним чреватые вспышками: медитатор строптив и капризен.

Человека (феномен человека) мы определили как *орудийное существо (Homo instrumentalis)*. Но выявленная орудийность предстала раздвоенной на утилитарно-рациональную и люфтово-художественную. В связи с этим встает вопрос об оправдании не-утилитарной орудийной деятельности, только что обрисованной в медитативном типе личности. Действительно, от каких грозных стихий экранирует нас язык поэзии? Какие выгоды сулит неторопливая пастыба философического размышления? Какие до-орудийные пласты бытия осваиваем мы в живописи? Нехудожественное (условно) орудие, соединяя человека с бытием, созидает изолирующую от бытия «капсулу»: одежда, дом, любая, наконец, деятельность с любым полезным орудием. Человек в орудийной деятельности замкнут в «капсулу» орудия. Работа зрения, мышление, конструктивные способности и т.п. подлежат строгой селекции, идущей от необходимости эффективного функционирования с орудием. Искусство же, созидая свои «орудия», нацелено противоположным образом: на расплавление орудийных «капсул». *Орудийная деятельность так относится к искусству, как дом к оконному проему.* Картина, висящая на стене, антисимметрична ей. Стена ограждает, создает заслон от не-орудийного нечеловеческого мира. Картина же, напротив, служит гидом-проводником, выводящим человека из плохо освещенной — утилитарно освещенной — комнаты как лабиринта орудийной деятельности на свет бытия. Без искусства «челнок» человеческого мира (человек = бытие) был бы невозможен. Искусство (как сверх-ratio) — штопор, орудие (как осуществление ratio) — пробка. «Штопорно-пробочный челнок» — вот вся жизнь человека в ее парадигме. Если на одном конце цивилизации накапливается избыток «пробок», то на другом возникает работа по созданию «штопоров». Социальная функция художника (и медитатора) получает простое объяснение. Формы люфтов и есть контуры «штопоров»: стихотворение, картина, философическое размышление... «Гуляка праздный» вдруг оказывается позарез нужным специалистом.

Art Phenomenon and Anthropology of 'Toolness'

V.P. Vizgin

Ph.D. in Philosophy, leading researcher at the Institute of Philosophy at the Russian Academy of Sciences

This essay addresses the problem of creativity of man as homo instrumentalis, i.e. as the subject of tool-mediated activity. The analysis focuses on the phenomenon of typologically personified joining of artistic and meditative attitude to practically significant tool-mediated activity. Acting as a specific link between a person and the world, a tool at the same time isolates him/her in a situation of closed practice ('a tool capsule'). The function of the artistic imagination and philosophical reflection is actually in opening, 'uncorking' this 'capsule' in a way that would enable one to get involved in an integrated and creative contact with existence and him/herself as well.

Key words: tool, toolness, rationality, meditation, art, imagination, existence, culture.